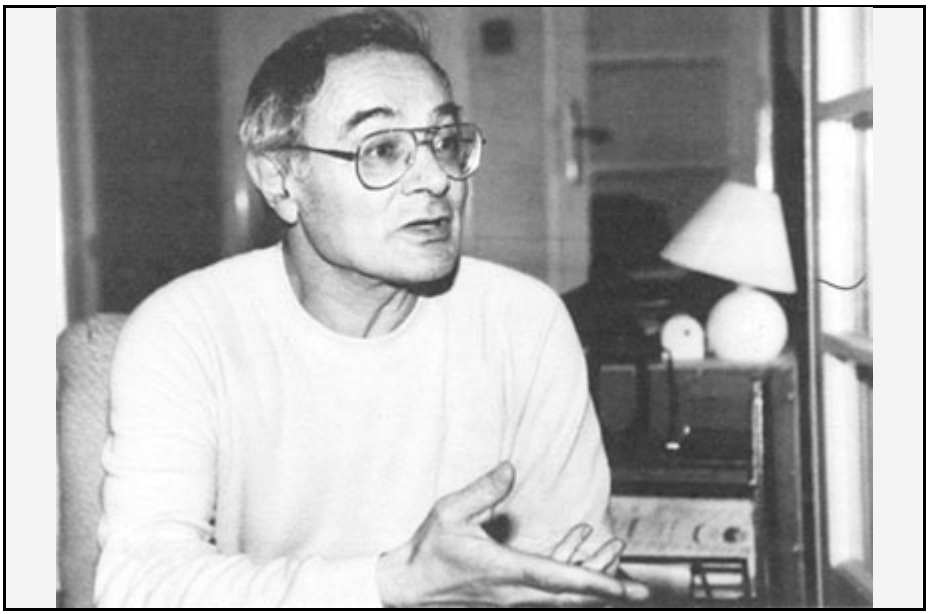
Памяти друга (Симона Маркиша)

Сергей Юрьевич Юрский

SHOUT
SHARE
IT

•

ПАМЯТИ ДРУГА (Симона Маркиша)



Скончался Симон Маркиш. Последнее время он называл себя Шимоном. Это был мой самый близкий друг в течение пятидесяти лет. С июля 1954 года. Мы собирались обязательно вместе отметить наш полувековой юбилей. Не случилось.

Симон – сын Переца Маркиша, выдающегося советского еврейского писателя. Переца Маркиша расстреляли в августе 1952 года вместе с другими руководителями и членами Еврейского антифашистского комитета, и это вызвало тяжелейший перелом в сознании его старшего сына. Этот перелом, естественно, определил всю его дальнейшую жизнь. Стал причиной другого перелома, о котором скажу ниже.

Симон Маркиш принадлежал мировой культуре. Это был какой-то невероятный курс – курс классического отделения филфака МГУ в конце сороковых и начале пятидесятых. Позднее там учился и Сергей Аверинцев, Сережа, с которым Симон дружил. Последний раз мы втроем встречались и

фотографировались три года назад. Это было в Женеве, где много лет прожил Симон…

Симон Маркиш – прежде всего великий переводчик с древних языков. Переводчик Плутарха, Платона, Лукиана, других античных писателей. Он переводил еще и с английского, с немецкого, с французского, с итальянского.

Потом была эмиграция в начале 70-х. И снова университет. На этот раз – Женевский. Двадцать с лишним лет. Это оказался долгий путь. Симон Маркиш стал гражданином Швейцарии. Преподавал русский язык, русскую литературу. В Женевском университете я его наблюдал тоже. Поразительная атмосфера была в отделении, возглавлявшемся выдающимся филологом-русистом, знатоком нашей литературы Жоржем Нива. Какие люди выходили оттуда! Какое братство! Если есть университетский дух в наше время, по-настоящему университетский, то это связано с такими людьми, как Симон.

Маркиш – еврейский человек. Я бы так сказал. Нерелигиозный, но еврейский. Осознание этого в полной мере пришло к нему довольно поздно. И на моих глазах. Трудное осознание. То был второй гигантский поворот в его жизни, ибо прежде круг его интересов определялся мировой культурой. Еще здесь, в Москве, в шестидесятые годы, Симон издал «Рассказы об Эразме из Роттердама». Там, в Европе, много лет спустя, в новом своем ощущении он создал другую книгу – «Эразм и еврейство». Его уже интересовало это. Теперь, когда закончилось его земное существование, Симон пребудет одним из самых крупных, если не самым крупным исследователем, проповедником русско-еврейской литературы. Он полагал что русско-еврейская культура вообще заканчивается (спорный, по-моему, момент) и ощущал это мучительно; он славил эту культуру и говорил: вы должны ее знать. Под его влиянием я участвовал в спектакле по пьесе Семена Ан-ского «Диббук», с ним консультировался, играя в «Диббуке» на парижской сцене. Последняя его книжка – «Родной голос». Это замечательное собрание произведений русско-еврейских писателей конца XIX – начала XX века с великолепным предисловием Симона. Книжка меня обожгла: я ведь не знаток этой литературы. Он меня в который раз познакомил с тем, чего я не ведал. Книга издана на Украине. Университетским опять же издательством. Она для меня – его прощальный привет.

Симон – общественный человек в высшем смысле слова. Его влияние огромно. У него осталось множество учеников. Я по телевидению объявил, что умер Маркиш, и телефон у меня с того дня все время звонит, и люди говорят: мы услышали… я с ним учился… я с ним встречался… Никто из тех, кто его знал, его не

позабыл. Его жалкая квартирка в переулке возле Плющихи – малюсенькая комнатка и строгая бабушка. Квартирка эта собирала людей, которых трудно себе представить. Там я познакомился с Юрием Домбровским. Туда приводил своих друзей-актеров. И все они, уже без меня (я-то жил в Ленинграде), там застревали. Иосиф Бродский не был особенно щедр на похвалы. И все-таки он сказал: «Этот гениальный Сима Маркиш»…

Повторяю: Маркиш – общественный человек. Но он и человек одинокий. Ему как истинному мыслителю всегда необходимо было говорить и необходимо пребывать в одиночестве. Потребность в одиночестве противоречила его общительному характеру. Но и то и другое присутствовало в нем. Смерть настигла его в женевской квартире. Он был один, и только на третий день друзья смогли попасть в квартиру. Они уже понимали, что им предстоит увидеть.

…Помню, как мы сидели в небольшой компании у Симона в Швейцарии. Мы встречали старый Новый год, девяносто пятый. Это было за год до смерти Иосифа. И Иосиф был там, и есть памятная фотография, и бесконечно памятные ощущения. После того как Симон эмигрировал, мы не виделись 14 лет, потому что я был «невыездной», а он «невъездной». Но мы переписывались, перезванивались, и когда увиделись через 14 лет, оказалось, что ничто не прервалось и наш диалог продолжается, и я по-прежнему чувствую себя ведомым, а его – ведущим. По-прежнему узнаю от него, что надо читать, как понимать прочитанное. Ведь это из его рук я получил «Мастера и Маргариту», под его влиянием, и даже благодаря его суровой настойчивости, прочитал Томаса Манна. От него я узнал писателя, произведения которого теперь исполняю, – Владимира Жаботинского. Всё через него. Он больше ни разу не приехал в Россию. Я его очень звал. Нет, не приехал. Но, когда я был за границей, он приезжал ко мне. Далеко – иногда в Барселону, где мы снимали фильм «Чернов, Чернов» и где Симон сыграл роль старого официанта в испанском кафе. Он приезжал, и всегда это было веселье, это была радость, ибо общение с ним было безумно интересно.

Сам он никогда в учителя не напрашивался. Просто был учителем. Последний раз мы виделись в этом году в день его рождения в Брюсселе, где я давал концерт. Мы ели, пили, а потом на рассвете с нашим общим другом провожали Симона на Южном вокзале. Он уехал, а я вспомнил стихотворение, которое написал ему лет за десять до того, когда мы с ним тоже прощались.

Как мастер сработал скрипку,

Где нет ни одной скрепки,
Где на благородном клее,
Который сродни елею,
Все части срощены крепко,
Так я бы хотел кратко
И по возможности кротко
Проститься с тобой, брат мой, –
Я ухожу обратно.
На голове моей кепка,
Что ты подарил. Лодка
Скоро отчалит.
Водки выпьем еще – как в песне,
Много прошли мы вместе,
Нынче же чувствую – баста!
В разных мирах жить нам.
Вот подошла жатва.
Наш урожай скудный
Жертвой на День Судный
Врозь понесем. Часто
Вспомню тебя,
Только я не нашел толка
В этом Раю – Штаты, Франция или что там?
Я ухожу обратно.
Время бежит шибко.
Ты сохрани шапку,
Что я подарил – Шутка,
Конечно, была… Жутко
Мне без тебя. – Много
Вместе прошли. С Б-гом!
Давай поцелуемся трижды.
Слезой проблеснет надежда.
Сворачивает дорога.
Ты только держись, ради Б-га!
Ну, вот и простились,
Брат мой.

Сергей Юрский

Теперь и навсегда

Памяти Симона Маркиша

Adieu, mon cher, adieu,
Le coeur prie l”quietude.

Надо бы помолчать.

Мне надо бы помолчать. По крайней мере до сорокового дня с его кончины. Значит, до 13 января 2004. До Старого Нового года. Но таким галопом идет жизнь! И столько смертей! Внахлест идут. Столько сердец надколото. И если человек ушедший был заметен, а тем более, знаменит, некоторое время СМИ (прости, Господи, какое ужасное слово!) оставляют место для похоронных воспоминаний. Некоторое время! Не очень большое. Потому что таким галопом идет жизнь. И смерти идут внахлест. Нужно УСПЕТЬ сказать о Маркише. Нужно?

Не уверен. Уверен, что УСПЕВАТЬ — не нужно. Ах, Симон бы сморщился, как от кислого. Его лицо на мгновение приняло бы столь несвойственное ему выражение отвращения. Наверное, он снял бы даже очки, отвернулся и протер стекла — стер бы с них это мгновение. Не надо, не надо УСПЕВАТЬ! Все уже прошло.

Чему надо было, вошло в сердце, в мозг. В душу, в наличие которой он не верил. В память. Она разрасталась в его душе (в которую он не верил) и постепенно стала такой огромной, что окутала ее всю, изнутри и снаружи. Его огромный ум, огромное сердце и огромная память вышли за пределы его тела, стали излучением, которое влияло на всех соприкасавшихся с ним даже на короткое время. Оно вышло за пределы его земной жизни и осталось в этом мире отдельно от его могилы на земле израильской Палестины, далеко от Москвы, на языке которой он говорил, писал и думал, от Будапешта, где осталась последняя его семья и семья первой его эмиграции, далеко от Женевы, гражданином которой он стал, в Университете которой была последняя долгая и счастливая его профессорская служба.

В последние годы он запретил себе высказываться. Этот мыслитель, этот философ и историк СТАРАЛСЯ говорить только на совсем простые, бытовые темы. И, кажется, делал это с удовольствием. Очень подробно, с подлинным интересом, расспрашивал о здоровье, об общих знакомых, даже весьма отдаленных, вежливо отвечал на все дружеские письма и звонки. Но чурался ученых встреч, конференций, симпозиумов. А если иногда принимал приглашение на такое “мероприятие” и выступал там, то каждый раз начинал свою речь с того, что он давно отошел от реальных проблем, рассматриваемых уважаемым сообществом, и может быть только свидетелем некоторых существовавших в прошлом, а ныне пребывающих лишь в отголосках — событий и идей.

Далее шла сама речь, которая постепенно становилась все более страстной, идущей все более поперек ожидаемому. А потом он резко очерчивал РАМКИ, которые считал возможными для себя, а остальное объявлял ВНЕ своего права судить и вне своих интересов.

* * *

Я помню зеленые брюки,
Я помню небритые щеки.
Уехал наш Сима на муки
Смотреть шведский хор в Териоки.

Эту дурацкую песенку я сочинил и гнусаво напевал, растягивая слова и грассируя на манер Вертинского, поджидая Симона у ворот нашего Дома Творчества. Темнеть стало рано. Был уже август. Быстрой своей мелкой походкой Симон

приближался от станции по Цветочной улице и свернул к нам.

— Ну, что? Намучился?

— Знаешь, Сергунь, мне понравилось.

— Мы твой ужин на веранду забрали. Иди, поешь.

Это было лето 1954 года. Карельский перешеек. Поселок Комарово-Келомякки. Сорок километров от Ленинграда.

За два года до этого в застенках КГБ было расстреляно руководство Еврейского Антифашистского Комитета. В числе убитых был выдающийся и, еще несколько лет назад — очень знаменитый, еврейский поэт Перец Маркиш. Отец Симона. Семью выслали в Казахстан. После смерти Сталина ссыльных вернули. Симону разрешили снова поступить в Московский Университет, на классическое отделение филфака. На лето кому-то удалось достать ему путевку в довольно захудалый Дом Творчества ВТО (Всероссийского Театрального общества) под Питером.

На остекленной веранде в виде подковы нас помещалось пятеро. Жили по-спартански — без излишеств. Кровать, тумбочка, кровать, тумбочка. На спинке кровати полотенце, под кроватью — чемодан. Всё.

Был певец с трубным голосом и мощным храпом. Был Эвальд Федорович — крепкий мужчина, актер из не очень удавшихся, был совсем тихий человек, которого не удержала память. Был университетский студент-юрист, игравший роли в самодеятельности — это я. И был Симон.

И была у Симона зеленая полосатая пижама. В ней он и ходил. Тогда так было принято. Были, однако, и “пасхальные” брюки — на выход. Они помещались на вешалке, а вешалка на гвоздике, вбитом в стену.

В том же домике в “люксовом” номере помещались мои родители. Отец был тогда художественным руководителем Ленконцерта и имел право на некоторые льготы. Впрочем, “удобства” все равно были общие в виде единственного туалета на весь домик. Юрий Сергеевич Юрский был фигурой яркой и единодушно признавался неформальным лидером всей домотдыховской общественности. Он и сказал мне однажды: “Ты, сынка, совсем закрутился со своим волейболом и пинг-понгом. Рядом с тобой очень интересный человек. Ты поговори с ним”.

Мы поговорили. И оказалось действительно интересно. В волейбол Сима не играл, к морю ходил редко и без удовольствия. А вот разговаривать с ним было здорово. Как-то все вокруг поворачивалось новыми сторонами. К тому же он до ужаса много знал. И еще вот поехал в Зеленогорск (бывшие Териоки) на Шведский хор. Я не мог пропустить волейбол и потому никак не

мог составить ему компанию даже по такому редкому в те строгие времена случаю, как концерт хора из Швеции.

На прощанье мы обменялись адресами, и уехал Симон в Москву.

Это было пятьдесят лет назад. И с тех пор через все перемены жизни, через множество событий, через множество городов и стран, через запреты и неразбериху, через конфликты и их преодоление мы умудрились не потерять друг друга.

* * *

Цитирую по своей книге “Игра в жизнь”, написанной в 2000 году.

“Дружба в тоталитарном обществе — это исповедь, это проверка курса, спасение от безумия, погружение вглубь....

Долгожданный день дружбы — ты приближаешься к самому себе. Ты говоришь без всяких оглядок. Ты слышишь НЕОЖИДАННЫЕ возражения. Наконец-то ты слышишь НОВЫЕ мысли и слова. Ведь ежедневно по радио, в газетах, в официальном общении и по большей части даже в театре ты заранее знаешь ВСЕ СЛОВА, которые тебе скажут. И заранее знаешь все слова, которые ты ДОЛЖЕН произнести. А в этот день ты радостно замечаешь, что и сам-то, наконец, говоришь новое, идущее изнутри. Открывается клапан, и ты оказываешься совсем не таким плоским, как казалось. Это счастливое ощущение....

Конечно, наши отношения были “подпольем” — не в смысле заговора и склоненных над столом мрачных фигур при закрытых окнах, а в смысле чего-то сугубо личного, не предназначенного для чужих глаз и ушей. А уж от наших характеров зависело, что это было не угрюмое мудрствование избранных, а шутливое по форме и всегда наполненное юмором, я бы сказал — трепливое общение. И всегда Симон был учителем, а я учеником. И по возрасту и... и по всем другим качествам”.

Наши компании смешались. Его — литературно-переводческая и моя — актерская. И были кутежи и бессонные ночи, и закручивались романы. Но главным... главным были разговоры. СЛОВА, которые были важны, в которых мучительным пунктиром прочерчивался смысл нашей молодой жизни.

Маркиш переводил Плутарха. “Сравнительные жизнеописания” имели большой успех, и Симон вместе со своим однокурсником Сергеем Аверинцевым вошел в число высшего слоя “классиков” и античников. Позже, уже в одиночку, Маркиш перевел с латыни “Разговоры запросто” Эразма Роттердамского. Кажется, интерес к книжке оказался меньше ожидаемого. Но

Симон увлекся Эразмом. И впервые стал полноправным автором. Вышла книга “Знакомство с Эразмом из Роттердама”.

Он переводил Апулея, редактировал перевод “Похвалы глупости” Эразма, пересказывал для детей Тита Ливия, участвовал как переводчик в издании двухтомного Эдгара По.

Я не буду перечислять всего. Я не помню и знать не мог всего, что он переводил, редактировал, составлял. Он работал мощно и, казалось, счастливо. Когда он написал статью “Античность и современность” и ее опубликовал “Новый мир”, находившийся тогда в центре общественного внимания, Симон стал по настоящему заметной фигурой в бурлящей московской жизни.

Мы выпивали квартетом на квартире у Симы во 2-м Труженниковом переулке возле Плющихи. Какие ребята! Как искрился их юмор! Витя Хинкис, блестящий переводчик, подаривший русскому читателю среди многого другого — Голдинга, Володя Смирнов, знавший, кажется полтора десятка языков — от всех европейских и скандинавских до китайского и японского и навсегда облагодетельствовавший больших и маленьких читателей переводом “Муми-тролля”. Потом мы катили в большую компанию. Там растворялись на время. Чтобы снова собраться вместе и продолжить этот пир возлияний и бесед.

Симон звонил из Москвы и говорил, что приедет на пару дней в Питер тогда-то. Я шел в Европейскую гостиницу и по блату снимал ему скромный номер — тогда это было доступно. У нас дома поселить было негде — жили в одной комнате, в коммуналке. Если в этот день у меня не было спектакля, покупалась бутылка виски (кутить, так кутить!), стоила (с наценкой!) 20 рублей. И уже в девять утра мы пригубляли по чуть-чуть, по маленькой — прежде чем окунуться в ленинградскую жизнь.

Когда я читал в хемингуэевской “Фиесте” страницы, где Джейк и Билл, забыв про рыбную ловлю, без конца говорят о литературе на берегу холодной речки в горной Испании и пьют без конца “дешевое местное вино”, мне казалось, что это про нас. Казалось, что мы задавались теми же вопросами и так же формулировали ответы.

Может быть, тогда я и влюбился в этот роман Хемингуэя, а потом (тоже в одно удивительное совместное с Симкой лето) написал пьесу по этому роману, позже сценарий и поставил спектакль и фильм.

* * *

Что-то переменилось. Симон позвонил в очередной раз из

Москвы и сообщил, что в Питер приедет его новая подруга. Она будет жить в Астории. Он хочет, чтоб я с ней познакомился, пригласил ее посмотреть спектакли. Вообще, поглядел на нее. Возможно, это будущая его жена. Она физик и очень ученая. Но, по его мнению, она еще и обворожительна. Я должен высказать на этот счет свое мнение. Это важно. Да, кстати, она иностранка. Венгерка. Но по-русски говорит и понимает отлично. “Понимаешь, она, кажется, все понимает”, — сказал он.

Да, она мне очень понравилась — женственная, живая, естественная — Ю. Н. — венгерский физик на стажировке в Институте Ядерных исследований в Дубне. Вот это роман, вот это выбор, вот это судьба! Да... только вот... слушайте, Юлика, вы собираетесь здесь потом работать... в Союзе? Нет? А... тогда стало быть?..

Менять страну собрался Симон. Когда мы встретились через некоторое время, я разглядел в знакомых чертах нового для меня человека. Это был слом. Или возрождение. Во всяком случае, коренная перемена. Только теперь, через полтора десятка лет я понял, что “пепел Клааса стучит в его сердце”. Симон в полную меру ощутил (или всегда ощущал, но теперь в полную меру проявил), что он сын убитого сталинским режимом Переца Маркиша, что он часть народа, ввергнутого в ад немыслимых страданий, что он еврей. И что это прежде всего.

Он любил Юлику, он уезжал в дружественную страну соцлагеря. Но важнее для него было то, что он ПЕРЕСЕКАЕТ эту границу.

Мы брели с ним по набережной Москвы-реки и говорили. Разговор был тяжелый. Многого не мог я тогда ощутить и понять. Мне кажется, и сам он многого не знал и не предполагал. Но вдруг почувствовалось, что мы уже... в разных мирах. И этот мир для него в прошлом.

* * *

Два лета того, раннего времени, два лета, проведенных вместе, встают перед глазами. Щелыковское лето и десять дней в Новом Свете — Крымское лето, оборванное нежданными и, можно сказать, роковыми событиями.

Щелыково — это имение А. Н. Островского в Костромских краях, в Заволжье. Там же, в деревне Бережки, возле преданной в те годы на поругание и загаженной церкви, — могила великого драматурга. Возле имения — Дом творчества ВТО (опять театральный дом, как тогда в Комарово). Я вытащил туда Симку — отдохнуть и поработать, — он писал очередную книжку.

Невероятной красоты и покоя природа, мизерные и, по нынешним меркам, совершенно недопустимые бытовые условия и... несравненная радость творческого общения, фонтаном вздымающийся актерский юмор тех времен. Кто знал — помнит! Кто не знал — узнайте! Попробуйте увидеть на полянах среди завороженных лесов этих насквозь городских людей, одиннадцать месяцев в году знающих только сцену, кулисы, Дом актера на улице Горького и поезда, везущие на гастроли. Олег Ефремов, Наташа Крымова... Ия Савина, Катя Максимова и Володя Васильев... красавица Элла Бруновская, и, на правах хозяев, герои Малого театра — ежеминутно остроумный Никита Подгорный и Пров Садовский... Андрюша Торстенсен и Саша Кузнецов, счастливая и сверкающая Алла Покровская... невероятно знаменитые тогда телеведущие Аня Шилова и Аза Лихитченко... Остров Любви на пруду возле реки Сендеги, Красный обрыв и костры на нем, Черный обрыв...

Еда была скверная. В сельском магазине пустые полки. Пришел и наш с Симкой черед снабжать компанию водкой. Как же памятен этот поход за двенадцать (!) километров в один хороший ларек, куда “должны были завезти”. И потом это, тоже пешее, возвращение с грузом.

Как памятна баня в Кинешме, на другом берегу Волги, куда пришла на помывку рота солдат, в связи с чем оборотистые мужики продавали по 15 копеек вместо веников какие-то пучки прутьев. И мы с Симкой перестарались и исхлестали друг друга до шрамов.

А дневные часы работы! И книга Симона двигалась, как ни странно, хорошо двигалась. И шла вперед моя инсценировка. Мы очень много успели за это веселое пьяное лето. И очень хороши, незабываемы были в то лето люди.

В Новый Свет мы собрались в конце июля 68-го года. Съехались в Симферополе и отправились “дикарским” способом на море. Жили в какой-то хибаре. Но постепенно “вмонтировались” в местную жизнь. Я становился довольно известным киноактером, и только что вышла на экраны “Республика ШКИД”. Меня узнавали. Я дал концерт в санатории, и нам продали курсовки. С едой наладилось. А потом... Ого! Нас позвали посетить подвалы знаменитого Новосветского завода шампанских вин. О, это памятно! Купаж, чаны, бочки, бутылки, полки... Вежливый руководитель, который предложил отведать в своем кабинете “настоящего, особого БРЮТА”. По бокалу, а? Смешное дело, что значит “по бокалу”, коли уж все равно открыли бутылку? — О, это особое шампанское, с ним осторожно! — Да перестаньте! Ваше здоровье! Мы вдвоем осушили всю

бутыль. Голова была ясная, свежая. Сейчас еще искупаемся...

Куда там! Мы встали, но двигать ногами не могли. Ноги были из ваты. “Как вы, ничего?” — спросил директор. “Ничего, ничего! Нормально...” Мы шли километр до нашей хибары часа два. Мы останавливались, садились на песок, смотрели друг на друга выпученными глазами... и хохотали. Небо опрокидывалось в море, а море выпрыгивало на верхнюю дорогу.

Лето было жаркое. Мы совершили восхождение на гору Сокол.

Пришла телеграмма. Меня вызвали в Москву и послали в Чехословакию. Был август 68, и 21-го числа в Прагу вошли наши танки.

.....

Вернувшись в Москву 25-го, я поселился у Симона. Я был подавлен и возбужден. Я говорил не останавливаясь, а Симон слушал. Он понял, что меня надо спрятать от журналистов и назойливых посетителей разного толка. Он увез меня в Дубну, где были общие друзья — физики. Саша Филиппов устроил номер в гостинице.

Мы говорили. Думали. Молчали. Это был перелом. Настоящий перелом в жизни каждого из нас.

Потом я понял, что именно в эти дни, в эти месяцы происходил тот окончательный бесповоротный перелом в душе моего друга, который привел его сперва к эмиграции “ближней”, потом “дальней”, потом к четырнадцати годам, что мы вообще не виделись, а в редких письмах и опасливых телефонных разговорах все более понимали, что теряем общность. Мы по-разному стали смотреть на вещи. Чтобы потом, когда уже почти не было надежды, чтобы потом... была еще целая новая жизнь.

* * *

Цитирую по тексту предисловия Симона (уже Шимона) Маркиша к книге “Родной голос”, составленной им и изданной в 2001 году в Киеве:

“...Достоевский сто двадцать лет назад выразился: “Еврей без Бога как-то немыслим; еврея без Бога и представить нельзя”. Немыслимое обросло плотью. В обезбоженном мире еврей без Бога — не исключение и даже не редкость, напротив — он в большинстве.

Но если не религия, не заповеди, обряды и молитвы объединяют нас, не знающих веры, но принадлежащих еврейству и головою и сердцем, то что?

Я думаю — культура. <...>

Возможно не будет совсем уж лишним уточнить, что евреи т о л ь к о по рождению, к своим корням равнодушные, а не то и прямо враждебные, в круг нашего внимания не входят.”

Симон сместил со своего письменного стола любимых прежде античных авторов, убрал на дальние полки западноевропейскую и американскую литературу. Его внутренним интересом все более овладевала исключительно русско-еврейская литература.

А как профессионал (а он был и оставался филологом и историком русской литературы высшего класса) Маркиш нашел себе применение в русском отделении Женевского Университета, возглавляемом выдающимся французским руссистом Жоржем Нива.

Чтобы не рвалась нить биографии, сообщу, что Симон, живя в Будапеште, овладел довольно прилично венгерским языком. Среди венгров у него появился интересный круг знакомых. Однажды (только однажды) Симон приезжал в Союз. Жил у нас. Мы с моей женой Наташей Теняковой ждали тогда рождения дочери. Общение наше с Симоном перешло на какой-то поверхностный уровень. Мне казалось, что захватившая его целиком еврейская тема сужает его талант, отрывает от той, если так можно выразиться — ВСЕМИРНОСТИ, которая была его силой и признанной особенностью. Но это было мое мнение. Симон думал иначе. И мы все больше помалкивали.

Жизнь в Венгрии, с точки зрения властей, не была еще полной эмиграцией. Да и Симон считал, что он по-прежнему живет в социализме. Он не чувствовал себя свободным человеком.

За несколько лет до этого покинула страну его матушка — Эстер, вдова Переца Маркиша — и его младший брат Давид, талантливый журналист и писатель. Они уехали в Израиль. Отъезд был трудный, даже мучительный. Симон остался в Москве с бабушкой — поразительно достойной и умной Верой Марковной. Но вот бабушка умерла, и тогда... оказалось, что ничего более к Москве его не привязывает. И, однако, он уехал не в Израиль. Он влюбился в Юлику и стал жителем Будапешта. У них родился сын. Наши отношения поддерживались регулярными письмами. И вдруг...

С оказией я получил письмо от него из Швейцарии. Он выехал по научному обмену... и стал невозвращенцем. Он звал жену с собой, он звал ее теперь к себе, но она отказалась — так писал он. Он подробно обосновывал свое бегство. Честно говоря, я подозревал и иные, побочные причины. Я полюбил Ю.Н., и мне нравился их союз. Но я не судья ни им, ни ему.

Переписка с капиталистической страной стала совсем затрудненной. А о свидании невозможно было и мечтать. К тому

же у меня начались неприятности с властями. Я стал “невыездным”. Пульс нашей дружбы стал редким и неровным. Он еле прослушивался.

* * *

Началась перестройка. Меня “выпустили” аж в Японию — одного, надолго! Ставить спектакль. Шла зима 86-го года. Из Токио я набрал номер телефона Симона в Женеве. Наконец мы слышали голоса друг друга. Но мы были очень далеко. И к тому же мы сильно повзрослели, чтобы не сказать постарели.

Весной 87-го я получил приглашение дать концерт в театре Одеон в Париже. Я не верил своим ушам, своим глазам, но я жил в Латинском квартале и в день концерта ждал приезда Симона из Женевы.

На перроне Лионского вокзала я оказался минут за двадцать до прихода поезда.

Симон вышел из самого дальнего вагона. Я узнал издали, сразу узнал его легкую мелкую походку. С ним была всего только маленькая сумка и зонтик. На расстоянии казалось, что он совсем не изменился. Он остановился вдалеке и поднял приветственно руки.

Мы не виделись четырнадцать лет.

В 88 году я давал концерт в Милане, и Симон снова приезжал повидаться.

А еще через год по его приглашению я ехал поездом через всю Европу в Женеву.

За это время мне открылся новый круг его общения. Кроме упомянутого уже Жоржа Нива, это были интереснейшие люди русской эмиграции — Ефим Эткинд, Виктор Некрасов, Владимир Максимов, Андрей Синявский, Мария Розанова. Но — странное дело — находясь в старинных и дружеских отношениях со многими, Симон как бы вовсе и не принадлежал к слою эмиграции. Он был и с ними, и сам по себе. Был еще женевский круг его коллег — профессоров и его нынешних и бывших студентов. С ними связь была, пожалуй, теснее и живее. Гостей из России, бывших знакомых, Симон принимал необыкновенно радушно со всей щедростью души и кармана. Но разговора о том, чтобы нанести ответный визит, не поддерживал. Прошлая жизнь вспоминалась, но ни о каком возвращении, даже на короткий срок, ни на каких условиях не могло быть и речи.

Он жил в Женеве на улице Бови Лисбер, это была реальность, и она была необратима.

* * *

Я сидел на его лекции. Он говорил об одном из своих любимцев в русской литературе — Державине. Именно — не читал лекцию, а говорил. Было замечательно. Бывал я на семинарах, присутствовал на индивидуальных занятиях. Но даже если бы ничего этого не видел я своими глазами, через знакомство с его многочисленными учениками узнал бы я, какого высшего качества был их Учитель. Его очень ценили. Продолжали поддерживать с ним связь, уже окончив Университет, сами становясь учителями, профессорами, переводчиками, дипломатами высокого ранга, как Хайди Тельявини.

Высокая ученость в сплетении с естественностью и простотой — такая атмосфера была на кафедре. И создавалась она прежде всего талантом и усилиями Жоржа Нива и Симона Маркиша.

Жорж возглавил “Русский кружок”, и под этим скромным названием образовался клуб международного масштаба. Гостями клуба побывали многие выдающиеся люди из России и из русской эмиграции. На публичные заседания, бывало, собиралась вся русскоязычная Женева. Симон был и консультантом, и “связующим звеном”, и участником клубных встреч.

Но “внутренняя душа” его все более сосредотачивалась на одном предмете — русско-еврейская литература. Исчезающий, или, по его мнению, исчезнувший мир.

В 93-м году он писал: “Прошедшего не вернуть, черных десятилетий, превративших российское еврейство в духовный труп, из истории не вычеркнуть. Труп же — финансовыми вспрыскиваниями Запада и Израиля — можно только гальванизировать, но не оживить.

И потому понятны голоса из России: все усилия надо приложить к тому, чтобы крохи минувшего, как-то еще сохраняющиеся (в государственных архивах и семейных преданиях, в старой периодике и т. п.) не изгладились из исторической памяти народа бесповоротно...

...И — хочется верить. Прежде всего — в то, что даже при худшем варианте уход российского еврейства со сцены будет мирным и добровольным, что иссохшая ветвь не будет ввергнута в огонь”. (Из статьи “Усыхающая ветвь”)

Вот о чем болела и чему служила внутренняя душа моего друга.

Три блестяще написанных портрета — Бабель, Гроссман, Эренбург — и ряд статей составили великолепную напряженную, в сердце бьющую книгу под названием “Бабель и другие”.

Последний составленный им сборник русско-еврейской

литературы — уже упомянутый мной “Родной голос”. Симон и сам понимал (и даже писал в предисловии), что многих из этих авторов никак не причислишь к первому рангу русской литературы. Но были там и ослепительные вещи. Например (для меня) — трагедия в стихах “Осада Тульчина” Николая Минского, были отрывки из несомненно великого Владимира Жаботинского. Однако Маркиш не козырял общепризнанными именами. Все свои силы отдавал он любовному, я бы сказал — со слезой, ухаживанию, сохранению всего, что осталось от “усыхающей ветви”.

Я порой подшучивал над его нынешней “упертостью”. Он принимал шутки с улыбкой. Но был — так я ощущал — некий “кокон” внутри него, для которого и я — друг давний и проверенный — был посторонним.

* * *

А “внешняя” его душа — по-прежнему открытая и богатая — вела на необходимые и питающие оптимизмом свидания везде, где возможно было. В Москву он не ехал, как я его ни звал. Но КАЖДЫЙ ГОД, где бы я ни оказывался за рубежом, Симон появлялся. С маленькой сумкой, с бутылкой вина и зонтиком.

В Барселоне я снимал несколько сцен для фильма “Чернов/ Chernov”. Симон приехал. А ведь это ой как не близко. И он так органично, так весело вписался в компанию нашей группы. И подружился с Андреем Смирновым — нашим героем, и с оператором Мишей Аграновичем, и с художником Аликом Боимом. И даже СНЯЛСЯ в малюсеньком эпизоде (волновался жутко и был сильно зажат). В финале фильма он “сыграл” пожилого официанта в кафе у моря.

Симон несколько раз приезжал ко мне в Париж и в Брюссель, когда я работал в тамошних театрах. Мы встречались в Кольмаре и во Франкфурте-на-Майне. Мои друзья становились его друзьями, потому что Симон никогда не утрачивал своего покоряющего обаяния естественности.

Он хорошо знал Европу. Поэтому прогулки с ним по малым городкам и по музеям его выбора оказывались впечатлениями незабываемыми. Но вот особенность именно ему принадлежащая — он, прирожденный лектор, — никогда не превращал свои огромные знания в монолог и в поучение.

Для русского уха звучат так романтично названия мест, по которым мы бродили вдвоем и с семьями, и с друзьями — Беллинзона, Брюгге, Сен-Жермен-ан-Ле, Бобиньи, Порт-де-Клиньянкур. Да они и в самом деле романтичны, эти места. Но в

лучших (или невольных?) традициях нашей общей родины говорили мы в этих местах большей частью о Москве, о Питере, о Киеве... о людях: что они там сейчас, в этот момент поделывают, как меняются, как мы меняемся по отношению к ним, короче, по-пушкински, о местах “где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил”.

А писать мы друг другу стали реже. Телефон развращает. А возможность видеться ослабляет эпистолярное напряжение. Однажды, с оказией, Симон вдруг прислал мне связку моих к нему писем за много лет. Он их сохранил?! Зачем прислал теперь? Почему-то дрогнуло сердце.

* * *

С возрастом начинает казаться, что мир вокруг становится хуже. Даже при внешних признаках благополучия. А мы, дескать, все те же! За это подымают кубки, кружки, рюмки старые друзья — мы неизменны, мы еще крепки. Это мужество.

Есть и другое мироощущение. Само собой, что мир меняется, но меняюсь и я, и мы уже не те. Мало того, мы и не должны быть “теми” — приходит время. Болезни старения — производное от накопившейся горечи души. Ее — горечь — не надо показывать — неделикатно. А чтобы не дать ей излиться, подсознательно и сознательно строятся перегородки. Общение затрудняется. Это тоже мужество.

Мы искренне желали встречи. Не так просто найти возможность и время увидеться за две-три тысячи километров от дома. Встречались. И подымали рюмки за то, что еще живы. Но пилось не очень. И говорилось, надо признаться, тоже не очень. Больше молчалось. Проходило два-три дня, и надо было разъезжаться. Спохватывались, что не успели — не успели высказаться и расспросить. Времени оставалось только на то, чтобы твердо договориться о следующей встрече.

Ясно вижу картинку примерно пятилетней давности. Мы с Наташей приехали в Париж, у меня был концерт, а потом удалось специально остаться на неделю, чтобы пообщаться с Симоном. И он приехал из Женевы. И вдруг... было совершенно свободное время. Погода была скверная. Моросили холодные дожди. Мы пошли в музей Пикассо. Под зонтиками медленно двигалась громадная очередь. Стояли больше часа. Наконец вошли. На первой ступеньке лестницы Симон сказал: “Идите, поднимайтесь, я здесь вас подожду...” — “Симоша, болит что-нибудь?” — “Нет, нет... Я посижу здесь, погляжу одну статью. Подожду вас. Идите, смотрите... Я это уже видел...”

Что сказать? Как-то не глянулся нам в этот раз Пикассо. Довольно скоро мы спустились. В вестибюле на скамеечке сидел Симон. В руках была какая-то рукопись, но он не читал ее. Видимо, уже прочел. Он поднял глаза на нас, улыбнулся: “Поглядели? Ну, пошли”.

И в ту же парижскую встречу, почувствовав, что я ДОЛЖЕН начать говорить, потому что молчание затягивается, я с ужасом обнаружил, что я НЕ МОГУ. Буквально — физически! Рот не открывался, глаза не открывались. Начался опоясывающий лишай на лице.

Совпадение? Случайность? Возможно случайность. Но еще и какие-то мистические контрапункты. Мы оба СЛИШКОМ готовились к этой встрече.

* * *

В Швейцарии жесткие правила выхода на пенсию государственных служащих. Преподаватели Университета — это ведь госслужащие.

В шестьдесят четыре года педагог, кто бы он ни был, получает письмо, как черную метку. Дескать, очень Вами довольны, ценим труды и так далее и тому подобное, сообщаем, что ровно через год будем иметь честь окончательно отблагодарить Вас, сказать большое мерси и... будьте здоровы! И ровно через год... мерси, и в обязательном порядке с завтрашнего дня извольте освободить место.

Конечно, это повлияло. Нарушился трудовой ритм, который длился двадцать лет. Симон любил свой Университет.

Симон стал пенсионером, подчеркивающим свою жизнь ВНЕ активной деятельности “на столбовой дороге” культуры. Хотя... кто знает (а раздумывая о его судьбе, скажу — КТО СМЕЕТ ЗНАТЬ?), какую дорогу нужно назвать столбовой?

Он сменил свою прекрасную квартиру в Женеве на меньшую, подешевле. Довольно большую часть года проводил в Будапеште, где жила его новая жена — Жужа Хетени со своими двумя сыновьями. Там тоже у него была своя скромная квартирка-кабинет. Со стороны психологическое его состояние я формулировал так: ему было необходимо одиночество, с которым он не знал, что делать.

При этом сохранялись многочисленные дружеские связи. И не просто связи. Сохранялось чудесным образом его ВЛИЯНИЕ на множество людей. Влияние культурное, интеллектуальное, моральное, личностное. Вот назову несколько имен: Марлен Кораллов, литературовед, эссеист — политзаключенный

сталинских времен, знавший Симона еще в начале 50-х, физики Юля и Саша Филипповы, математик Никита Введенская, литературовед и издатель Игорь Виноградов, режиссер и горячий общественный деятель Алексей Симонов, журналист и издатель Эйтан Финкельштейн из Мюнхена. А немногим раньше — Иосиф Бродский, в одной из статей назвавший его “гениальным Симоном Маркишем”. Сергей Сергеевич Аверинцев, сам человек несомненно гениальный, одна из вершин нашей культуры и гуманитарной мысли.

Для всех этих людей Симон Маркиш был не просто одним из знакомых, а существенной частью окружающего их мира, критерием истинности, точкой отсчета.

Всем этим и, может быть, еще большим был он для меня. Я подружился со многими из его швейцарского круга. Жан-Филипп Жакар, нынешний глава Русской кафедры, Лика и Арман Брон, Рудольф и Розанна Шаллер, Корин Амашер, упомянутая уже Хайди Тельявини, ныне посол, специальный представитель Генерального секретаря ООН в зоне грузино-абхазского конфликта, и, конечно, его друг, его начальник и его оппонент — великолепный Жорж Нива, написавший (среди бесконечно многого другого) замечательную книгу об А. И. Солженицыне, переводчиком которой с французского был… Симон Маркиш! (1984 г.) Ей-Богу, не будет преувеличением сказать, что Симон был не просто частью этого круга. Он был его душой.

* * *

Три последние встречи. Уже в XXI веке. 01 — Будапешт, 02 — Тель-Авив, 03 — Брюссель.

6 марта 2001 года Симону исполнилось 70. Идея принадлежала Жуже и Хайди — устроить мне тайный приезд в Венгрию и сделать Симону сюрприз.

Сюрприз был с большими затратами времени, сил и средств. Нужен был вызов, виза, место “тайного” поселения. И еще, пожалуй, какое-то разумное оправдание всех этих усилий, кроме: “Здравствуйте, а вот и я!”

Представьте, все состоялось! Было организовано приглашение мне от “Русского дома” в Будапеште дать сольный концерт. В гостинице этого Дома я и поселился. Там же поселилась Хайди, приехавшая, как и я, специально из другой страны. Встречал меня в аэропорту представитель Дома, а Жужа в это время назначала Симону странное свидание — в 2 часа дня на станции метро при выходе.

Я чуть припоздал, и когда спустился по лесенке в вестибюль

метро, Симон был уже там. (Симка вообще был очень точен и на условленные встречи никогда не опаздывал). Он стоял, прислонясь к кафельной стене, и листал какую-то брошюру. Я вдруг жутко заволновался. Представилось, что сейчас он меня увидит и либо страшно закричит, либо сперва просто не узнает — ну, откуда я могу тут взяться? — а потом уже страшно закричит. Но ничего такого не произошло. Симон поднял глаза, уставился на меня, а после замотал головой и скорчил гримасу, выражавшую что-то вроде: “Х-хе! Ну, надо же! Как чувствовал, что они что-то затевают”.

Вечером в Русском доме был мой концерт, и я посвятил его Симону. Он с Жужей и Хайди сидел в зале. Тогда я впервые прочел со сцены стихи, написанные за десять лет до этого и обращенные к нему при отъезде из Женевы.

Как мастер сработал скрипку,
Где нет ни одной скрепки,
Где на благородном клее,
Который сродни елею,
Все части срощены крепко
Так я бы хотел кратко
И по возможности кротко
Проститься с тобой, брат мой, —
Я ухожу обратно.
На голове моей кепка,
Что ты подарил. Лодка
Скоро отчалит. Водки
Выпьем еще, как в песне,
Много прошли мы вместе,
Нынче же чувствую — баста!
В разных мирах жить нам,
Вот подошла жатва —
Наш урожай скудный
Жертвой на День Судный
Врозь понесем. Часто
Вспомню тебя, только
Я не нашел толка
В этом Раю — Штаты,
Франция, или что там?
Я ухожу обратно.
Время бежит шибко.
Ты сохрани шапку,
Что я подарил, — шутка,
Конечно, была... Жутко

Мне без тебя — много
Вместе прошли. С Богом!
Давай поцелуемся трижды,
Слезой проблеснет надежда.
Сворачивает дорога.
Ты только держись, ради Бога!
Ну, вот и простились, брат мой.

Следующий — юбилейный — день был предельно скромным. Вчетвером мы пообедали в эдаком домашнем ресторанчике, который имел соответствующее название — кажется, “У тетушки Марии”. Вечером Жужа и ее сыновья очень трогательно, с зажиганием свечей, с пением поздравительных гимнов вручили Симону подарок — отличный компьютер для его работы. Было славно. Потом мы прошлись с юбиляром под моросящим дождиком, и... и наутро я улетел в Москву.

Такие ли бывают юбилеи? Боже ж ты мой! Юбиляр же должен сидеть в широком кресле на сцене. Должны выходить люди с папками. Должны вызывать дружный смех испытанные остряки. Должна быть телеграмма от ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО официального лица. И, естественно, должен быть банкет с тостами на nn-ое количество персон. Это же всем известно!

У Симона таких юбилеев не бывало. Бывало другое — женевские встречи с коллегами и учениками. Туда присылались пародийные и лирические тексты, там подымались бокалы и пелись песни. Это было. Но это... как-то... это НЕ НА СТОЛБОВОЙ ДОРОГЕ.

Вот оно! Симон к 70-ти годам мог точно выяснить, что он прожил жизнь НЕ НА СТОЛБОВОЙ ДОРОГЕ. Я раздумываю теперь (и тогда раздумывал!) — а знал ли он, где она, столбовая? Если знал, то хотел ли взойти на нее и уж потом не уступать своего места? Нет! Решительно, нет! Парадокс Маркиша был в том, что есть МНОЖЕСТВО столбовых дорог. Его личный путь не раз пересекал эти дороги, но они — столбовые — всегда представлялись ему суетой сует или пустотой пустот. Он не только с друзьями, но, кажется, и сам с собой никогда не обсуждал вопрос смены своего пути ради столбов успеха. Его дорога была только его собственной дорогой, и вел его загадочный и великий эразмов девиз: НИКОМУ НЕ УСТУПЛЮ!

* * *

В апреле 2002 года события в Израиле были жаркие и кровавые. А погода была умеренная. Море было теплое, но

постоянный ветерок смягчал горячие солнечные лучи. Была война. И грозно расцветал ужасный цветок терроризма.

Туристов было мало, отели на средиземноморском берегу пустовали.

Мы с Теняковой гастролировали по стране со спектаклем “Стулья” Э. Ионеско. Жили в Тель-Авиве в Сити-отеле. Прибыл Симон и поселился, естественно, в доме, где живет его мама — Эстер Ефимовна и брат Давид с семьей. Эстер за два месяца до этого отметила свое ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕ. Она по-прежнему очень красива и выглядит роскошной гордой дамой. Их дом в одном из городов-спутников Тель-Авива от нас довольно далеко. Несмотря на это, встречались с Симоном почти ежедневно. Вместе шли на пляж — пять минут пешком от нашего отеля. Мы купались, а Симон был верен себе: “Идите, идите, я подожду, посмотрю пока одну статью”. За пятьдесят лет ни разу не помню Симона, купающегося в море или в речке. Обедали в пустующих ресторанчиках.

На наш спектакль в Тель-Авиве Симон приехал... с мамой.

Я обомлел, когда увидел Эстер, спускающуюся по длинной лестнице ко мне в гримерную. “А что вы так удивляетесь? — сказала она. — Вы что, думаете, я уже по лестнице не могу сойти!”

Это было время, когда она публиковала в одном еженедельнике главы из новой книги своих воспоминаний — об отъезде из Москвы, о жизни “отказников”, о мыслях и чувствах тех лет. Эти страницы будили память, обжигали. Мы говорили об этом с Симой, но он, как всегда, был сдержан в проявлении чувств и на эту тему больше слушал, чем говорил.

Гиватайм Театрон — очень симпатичное, совсем новое театральной помещение. Игралось хорошо, и к тому же это был прощальный спектакль. По окончании на улице внутри дугообразной колоннады был накрыт стол. Вокруг него — все участники спектакля, актеры и техники...

Во главе стола — Эстер. Она и водочки с нами выпила, а мы содвинули бокалы в честь ее юбилея. Было хорошо. Воздух теплый. Освещенная колоннада среди ночной площади, тосты, разговоры. Апрель 2002! Израиль. Немного походило на мизансцену из “Пира во время чумы”.

Симон качал головой: “Боюсь подумать, что с ней будет завтра”.

Завтра Эстер оказалась... в больнице. Но всего на два дня! Обошлось, и мы снова переговаривались по телефону.

А с Симоном провели вдвоем одно длинное утро. Подвели кое-какие неутешительные возрастные итоги. И снова

разъехались. На год.

* * *

А через год по весне снова выкинулась козырная масть — концерты в Европе. В Брюссель я был зван выступить в клубе местной элиты, на вечере, который устраивал Российский посол.

И концерт этот точнехонько 6 марта — в день рождения Симона.

В туманное и промозглое утро пятого марта, около шести часов мы с Марком Неймарком — Советником по культуре — встречали на Южном вокзале поезд из Швейцарии. Поезд пришел почти пустой, и уже издали стало видно на перроне пассажира с легкой сумкой и складным зонтиком. Еще несколько тысяч километров накатали мы с Симоном к месту этой, последней нашей с ним встречи.

Поселили нас в гостевых комнатах Российского Культурного центра. Шла масленица. Мой старинный приятель и гостеприимный наш хозяин Марк и его очаровательная жена Марина устроили блины. В честь встречи, в честь Симонова дня рождения и, конечно, в честь самой масленицы, дни которой обязаны быть жирно-радостными.

Потом мы с Симоном тронулись на прогулку. Дошли от нашей улицы Мередиен до пляс-Рожье. Десять лет назад здесь стоял огромный уродливый домище. Помимо многого другого в нем помещался театр, и я играл в этом театре с бельгийской труппой пьесу Кромелинка. И тогда Симон тоже приезжал поглядеть спектакль и повидаться.

Теперь громадный дом снесли. Но площадь не выиграла от этого. Начали стройку чего-то еще более грандиозного. Вообще, Брюссель на этот раз показался каким-то тревожным, усталым и запыленным. По центральным улицам шла многотысячная демонстрация протестующих докеров. Во многих местах заторы транспорта. Война с Ираком становилась реальностью. Вступление войск ожидалось с недели на неделю. Не имею никаких доказательств, но странным образом ощущалось напряжение в этой европейской столице, где четверть населения — мусульмане. Мы шли по кварталам, где были сплошь турецкие вывески, женщины в национальных одеждах, турецкая речь в группках остро жестикулирующей молодежи.

В этом сложном и таинственном городе гнездились руководящие органы мощнейших организаций Евросоюза, НАТО. Здесь, особенно накануне нависшей уже войны, скрещивались многие мировые интересы. Именно поэтому завтрашний “Русский

вечер", который устраивал в престижном Галльском клубе наш посол, был делом и деликатным и ответственным. Ожидались влиятельные люди, близкие ко Двору и к правительству. Послу предстояла большая речь в банкетном зале перед высоким собранием, а потом ответы на любые вопросы. Все по-французски. Перед этим я должен был дать для этой же аудитории в концертном зале программу русской и французской поэзии (тоже по-французски) минут на сорок. Далее двадцать минут играет пианистка. И потом публика переходит в огромный банкетный зал, где, кроме речей, блюда русской кухни, отличная водка и лотерея с призами в виде путешествия в Москву и в Питер. Надо было скорректировать наши действия, настроить себя, проверить свой французский.

Мысли мои все более были заняты ответственностью завтрашнего вечера. Я осторожно подводил Симона к пониманию тех обстоятельств, в которых я оказался. Сегодня вечером посол зовет к себе в резиденцию. Познакомиться, поужинать и договориться, как это все завтра будет.

Почему я так подробно вспоминаю набор совершенно внешних событий, не касающихся личности моего друга? Да именно потому, что моя профессиональная жизнь актера и, в какой-то степени, общественного деятеля, — только она давала возможность наших встреч с Симоном в разных странах. Но она же становилась некоторым барьером в нашем общении. И тогда в Брюсселе, в марте 2003, все это как-то особенно туго сплелось.

Конечно, мы говорили и о политике — вся нынешняя жизнь невольно политизирована. Но Симон к этому времени был АБСОЛЮТНО ЧАСТНЫМ ЛИЦОМ. Пуще глаза берег он свою независимость. Можно сказать, пожалуй, что его принципом стало НЕУЧАСТИЕ, а когда случалось некое сотрудничество, то это было исключением из правила. Что касается меня, то всю жизнь Симон оставался для меня примером. Могу признаться, что в серьезных решениях мной не раз руководила возможная его оценка такого решения. Я далеко не всегда был с ним согласен, но его взгляд — осуждающий или одобряющий — обязательно был в поле моего внимания.

И вот теперь предстояло объяснить Симону, почему он должен обязательно пойти сегодня со мной в посольство России, познакомиться с господином послом и отужинать у него. Потому что завтра, в день его рождения, я буду на сцене в Галльском элитном клубе, куда вхожи только члены клуба, а послезавтра мы опять разъедемся на год.

Вот так все было — вроде бы элегантно и даже местами шикарно, а на самом деле довольно жестко.

Мы оба родились в Советском Союзе. Наша родина — Россия. Но Симон покинул эту родину. Он оставил здесь множество друзей и близких по духу людей. Но он ни разу не захотел пересечь границу этой страны, где убили его отца, где зародилась, дала плоды и (по его мнению) пришла к вырождению столь любимая им русско-еврейская литература.

Маркиш был высоким знатоком христианства, относился к нему сторонне, но уважительно. Он не стал иудеем в религиозном смысле. У него это попросту не получилось. Он (мое мнение!) остался просвещенным, чающим Бога, но неверующим человеком эллинского толка. Древние греки и римляне — любовь его молодых лет — определили (мне кажется!) основание его духа. А уж если не они, то разве что Господь Бог, в которого он не верил.

Особое отношение было у него к выкрестам из евреев. Тут он был строг. Не в личном плане (доказательством тому его дружба и огромное уважение к о. Александру Меню), но в профессиональном — им было отказано называться русско-еврейскими литераторами. Вы, дескать, ушли в русские, значит, вы русские, у вас своя тропа, у нас своя — и точка.

И вот в вечерний час 5 марта — (столь важная дата нашей истории, особенно для всех репрессированных — день смерти Сталина) мы в удобной машине советника пересекли границу России — мы въехали на территорию Российского посольства в Брюсселе.

Мне везло с этим прекрасным особняком. В разные времена я бывал гостем двух прежних российских послов. С Н. Н. Афанасьевским, а потом с В. И Чуркиным мы проводили здесь хорошие вечера. Я надеялся, что и в этот раз будет не хуже. Надежды оправдались. Сергей Иванович Кислюк и его супруга принимали нас в узком кругу за прекрасным ужином. Кроме нас с Симоном был Марк Неймарк с женой и куратор-посланник Сергей Николаевич. Мы довольно быстро обсудили завтрашний вечер, а потом был свободный разговор. И разговор был действительно свободный и интересный. Мне кажется, Симону действительно понравился этот вечер и это знакомство. И хотя мы были в кругу новых людей, получилось настоящее общение.

Так в последнее наше свидание мы пару часов вместе побывали на российской земле. Я завлек его сюда, и не пожалел об этом.

Ночь была для меня тревожной — я репетировал. Днем немного гуляли с Симкой. Вечер был трудовой, официальный, успешный и длинный. Я вернулся только около полуночи. Симон, вроде, уснул. Я постучал в дверь его комнаты. Зажегся свет, и он

сразу откликнулся. Посидели, поболтали. Я говорю: “Ну, что ж мы так всухую в день рождения? Пойдем куда-нибудь! Выпьем чего-нибудь!” — “Неохота, Сергуня. Поздно уже. Какое питье!” Да-а, я и сам чувствовал — переменились мы. Возраст хватает за горло. Ухо к подушке тянется с усталости.

А утром было опровержение. Мы провожали Симона — Марк и я. На вокзал приехали загодя. Пришли в бар и сели у стойки на высоких стульях. Разбитная пьяноватая фламандка спросила, чего желают господа?

Господа пожелали виски, потом еще виски и опять виски. Утром. И было хорошо. Мы даже попросили ее нас сфотографировать. Радость встречи у нас была всегда, а вот веселье давненько не получалось. На этот раз было радостно и весело. Поезд ушел.

Это была последняя наша встреча.

* * *

“И кстати я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках…”
Пушкин “Евгений Онегин”

Да, так получается — пятьдесят лет дружбы в описании выглядят нескончаемой чередой застолий и прогулок. Были еще СЛОВА. Они-то и были самым главным. Но как их перескажешь? Они больше в душе. Вот и остаются прогулки да застолья.

По телефону мы, конечно, говорили регулярно в этом ушедшем 2003 году. Искали следующее место встречи и следующую возможность. Симон предложил на этот раз съехаться недели на две, по возможности, без всяких посторонних забот. Отметить круглую цифру. Последний разговор был в самом конце ноября. Встречу твердо назначили на август.

Саша Филиппов, наш общий друг, был по ученым делам в Церне возле Женевы. Они с Симоном повидались и назначили новое свидание на пятницу 5 декабря. Саша позвонил, телефон молчал. Саша стал звонить в Будапешт, в Тель-Авив, в Москву. Никто не знал, где Симон и что с ним. Через общих знакомых нашел он Корин — ученицу его и сотрудницу. У нее был второй ключ от квартиры Симона.

Он полулежал на кровати. Работал телевизор. На лицо упала раскрытая книга. Видимо, смерть была мгновенна.

А вот еще, чего не забыть никак. 13 января 1995 года. Старый Новый год. Женева. Улица Бови Лисбер, 3. На квартире у Симона собрались праздновать часов в 11. Пришел Иосиф Бродский. Был Жан-Филипп Жаккар, кто-то из учениц Симона и я. Бродский приехал после лекции. Я после концерта, где среди классиков читал стихи Иосифа. Водки было много. Закуски были хороши. Разговоры веселые. Чуток времени отдали и серьезному. Бродский читал свои переводы из древних авторов, которые он делал для театра. Собственно, это были скорее стилизации или даже просто собственные сочинения, навеянные духом и формой древних. Однако Бродский терпеть не мог выглядеть хоть в чем-нибудь дилетантом. Он опасался любого просчета, исторической неточности, несоблюдения канона. И тут Симон Маркиш был для него верховным арбитром. Было видно, как важно для него мнение Симона.

Прекрасная была ночь.

В 8 утра мы с Симой зашли в отель, где остановился Бродский — попрощаться. Он улетал домой, в Нью-Йорк. Бессонная ночь сказалась. Лицо серое, круги под глазами. Он пил крепчайший кофе и беспрерывно курил.

Обратно шли пешком. По мосту через Рону, вдоль берега Лемана. Говорили об Иосифе. О том, что надо бы ему себя беречь.

Это было ровно девять лет назад.

Сегодня, когда я заканчиваю эти записи, 13 января 2004 года.

В наступившем году Симона нет уже на этой земле. Сегодня 40 дней со дня его смерти. Душа его отлетает.

Прощай, мой дорогой друг!

Пусть земля тебе будет пухом.

Сергей Юрский